Москва и москвичи

Автор:
Владимир Гиляровский

Москва и москвичи

Владимир Алексеевич Гиляровский

Мясные и рыбные лавки Охотного ряда, тайны Неглинки, притоны Хитровки, Колосовки и Грачевки с грязными дворами и промозглыми «фатерами», где жизнь на грош, а любовь за копейку…

Автор, прозванный современниками «дядей Гиляем», известный журналист, в живой и занимательной форме рассказывает о быте и нравах старой Москвы, подкупая достоверностью и живостью портретов и описаний, ощущением сиюминутности происходящего и сохраняя в своих очерках неповторимый аромат той эпохи.

Владимир Гиляровский

Москва и москвичи

От автора

Я – москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я – москвич!

…Минувшее проходит предо мною…

Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.

…В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами: Волга с каждым днем приближается к Москве.

Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь – асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы – эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготовляют себя к геройским подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.

Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы…

Это стало возможно только в стране, где Советская власть.

Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах.

…Грядущее проходит предо мною…

И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней.

И вот «на старости я сызнова живу» двумя жизнями: «старой» и «новой». Старая – фон новой, который должен отразить величие второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым – меня, прожившего и живущего

На грани двух столетий,

На переломе двух миров.

Вл. Гиляровский

Москва, декабрь 1934 г.

В Москве

Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.

Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути – Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, «Лафортово».

– Во, это Рязанский вокзал! – указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.

Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желтокрасным пятнышком лампадки… Темь, тишина, сон беспробудный.

Вдали два раза ударил колокол – два часа!

– Это на Басманной. А это Ольховцы… – пояснил вожатый. И вдруг запел петухом: – Ку-ка-ре-ку!..

Мы оторопели: что он, с ума спятил?

А он еще…

И вдруг – сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»

Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.

Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

– Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, – пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.

Из Лефортова в Хамовники

На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.

На углу Гороховой – единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни – низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.

– Дедушка, в Хамовники!

– Кое место?

– В Теплый переулок.

– Двоегривенный.

Мне показалось это очень дорого.

– Гривенник.

Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной.

– Последнее слово – пятиалтынный? Без почину стою…

Шагов через десять он опять:

– Последнее слово – двенадцать копеек…

– Ладно.

Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов.

Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.

Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:

– А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота – юрк!

– Куда мне сбежать – я первый день в Москве…

– То-то!

Жалуется на дорогу:

– Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели…

– На чем? – спрашиваю. – На гитаре?

– Ну да, на колибере… вон на таком, гляди.

Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди – сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.

Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.

Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:

– Эту лошадь – завтра в деревню. Вчера на Конной у Илюшина взял за сорок рублей киргизку… Добрая. Четыре года. Износу ей не будет… На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут…

Переезжаем Садовую. У Земляного вала – вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.

Вдали звенят колокольчики.

Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:

– Кульеры! Гляди!

Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.

Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой – разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.

Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид.

– Кто это? – спрашиваю.

– Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно, важнеющих каких. Новиков-сын на первой сам едет. Это его самолучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся.

…Жандарм с усищами в аршин.

А рядом с ним какой-то бледный

Лет в девятнадцать господин… —

вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.

– В Сибирь на каторгу везут: это – которые супротив царя идут, – пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне.

У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров: в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор, певчие переругивались басами и дискантами на всю площадь.

– Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут, – пояснил мой возница и добавил: – Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку: пойло за счет седока.

Я исполнил его требование.

– Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не пущают к фанталу, а за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится.

Лубянская площадь – один из центров города. Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара – от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозчичьего трактира, стояли сплошь – мордами на площадь, а экипажами к тротуарам – запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес.

Из трактира выбегали извозчики – в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке – к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, – кого «ваше

степенство», кого «ваше здоровье», кого «ваше благородие», а кого «вась-сиясь!».[1 - Ваше сиятельство.]

Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков[2 - Телега с плоским настилом.] и водовозных бочек.

Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки.

Против Проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченную. Наниматель вынимал на чье-то «счастье» монету и с обладателем ее уезжал.

Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы… Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей.

Спустились к Театральной площади, «окружили» ее по канату. Проехали Охотный, Моховую. Поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах, с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, – выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты, на запятках, стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами.

За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой…

Театральная площадь

Грохот трамваев. Вся расцвеченная, площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза: над Москвой мчатся стаи самолетов – то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе.

Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое.

К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в линючем армяке и вихрастой, с вылезшей клочьями паклей шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных «кабысдохов», из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс:

Были когда-то и вы рысаками,

И кучеров вы имели лихих…

В восьмидесятых годах девственную неприкосновенность Театральной площади пришлось ненадолго нарушить, и вот по какой причине.

Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду.

С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду.

Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами.

Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты (а их было два: один – под углом Малого театра, а другой – на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали) были забиты отбросами города.

Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода.

Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды. Пришлось на площади забить несколько свай.

Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке – и запели. Народ валил толпами послушать.

Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, подернем!..

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае.

Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие: они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе.

Запевала оживляется, – что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:

У барыни платье длинно,

Из-под платья…

А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться.

А запевала уже увидал франта в цилиндре:

Франт, рубаха – белый цвет,

А порткам, знать, смены нет.

И ржет публика, и все прибывает толпа.

Артель утомилась, а хозяин требует:

– Старайся, робя, наддай еще!

Встряхивается запевала и понаддает:

На дворе собака брешет,

А хозяин пузо чешет.

Толпа хохочет…

– Айда, робя, обедать.

«Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.

В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами «отцы города» чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит…

– Только разворуют, толку не будет.

А какой-то поп говорил в проповеди:

– За грехи нас ведут в преисподнюю земли.

«Грешники» поверили и испугались.

Да кроме того, с одной «Дубинушкой» вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.

Хитровка

Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка – жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»…

Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» – смакует какой-то «бывший».

А кто попроще – ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка – рубец, который здесь зовется «рябчик».

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух – и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя

рогожами и есть «нумер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев…

На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их, переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов – в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно…

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира-«Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, в «Сибири» – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» – притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».

Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны.

Всем Хитровым рынком заправляли двое городовых – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были с обоими представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них: все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то.

Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит – вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.

– Болдох! – гремит городовой.

И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.

– Здравствуйте, Федот Иванович!

– Откуда?

– Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что…

– То-то, гляди у меня, Сережка, чтобы тихо-мирно, а то…

– Нешто не знаем, не впервой. Свои люди…

А когда следователь по особо важным делам В. Ф. Кейзер спросил Рудникова:

– Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?

– Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то и дня не простоишь, пришьют! Конечно, всех знаю.

И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью.

Рудников был тип единственный в своем роде.

Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.

Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:

– Попадешься – возьмет!

– Прикажут – разыщет.

За двадцать лет службы городовым среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все.

– Ну, каторжник… Ну, вор… нищий… бродяга… Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нешто их всех переловишь? Одного пымаешь – другие прибегут… Жить надо!

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его уменью найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним.

С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

– Соседи сработали… С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть! – сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет – пальто новое. Я его утешаю:

– Если хитрованцы, найдем.

Попрощались с хозяевами и пошли в 3-й участок Мясницкой части. Старый, усатый пристав полковник Шидловский имел привычку сидеть в участке до полуночи: мы его застали и рассказали о своей беде.

– Если наши ребята – сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный!

Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.

– Наши! Сейчас найдем… Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались.

– Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!

Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из отворяющейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.

– Двадцать шесть! – крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились.

В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.

– Каторга сигает! – пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму: – Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так зашел…

– Чего ж пугаешь зря! – обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.

– А вот морду я тебе набью, Степка!

– За что же, Федот Иванович?

– А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут… Второй побег. Я не потерплю!..

– Я уйду… Вон «маруха» завела! – И он подмигнул на девицу с синяком под глазом.

– П-пшел! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай!

Молчание.

– Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе – сыщик, что ли? Ну, Зеленщик? Говори! Ведь я его хромую ногу видел.

Болдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:

– Сразу бы так и спрашивал. А то канителится… Ну, Зеленщик!

– Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу. Чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать – все одно возьму. Не спрашивают – ваше счастье, ночуйте. Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще! А я наверх, он дома?

– Дрыхнет, поди!

Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупредить.

Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.

– А ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?

– Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, – послышался из-под нар бас-октава.

– Ну, вот он есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину.

– Это наш протодьякон, – сказал Рудников, обращаясь ко мне. Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи.

– Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! – загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары.

– Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел! Тише вы, дьяволы! – крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многая лета».

Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал – заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого.

– Ну, что надо? И кто?

Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.

– И что вы деретесь? Я же человек!

– А коли ты человек – где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?

– И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили.

– Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! – сказал мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики.

Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.

– Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил.

Таков был Рудников.

* * *

Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска: окружат дом, где поспокойнее, наберут «шпаны», а «крупные» никогда не попадались.

А в «Кулаковку» полиция и не совалась.

«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой овраг», а все вместе – «Свиной дом». Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки Сухого оврага».

Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют: беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье! Куда им больше деваться с волчьим паспортом:[3 - Паспорт с отметкой, не дававшей права жительства в определенных местах.] ни тебе «работы», ни тебе ночлега.

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали «газетчиком».

Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор – и просятся назад.

Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.

Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.

– Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома.

Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:

– Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! – хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

– Горла, говоришь? А нос у тебя где?

– Нос? На кой мне ляд нос?

И запела на другой голос:

– Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

– Ну, давай на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает «рванинку» и кладет покупателю на ладонь.

– Стюдню на копейку! – приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды.

– Вот беда! Вот беда! – шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

– А теперь, Глеб Иванович, зайдем в «Каторгу», потом в «Пересыльный», в «Сибирь», а затем пройдем по ночлежкам.

– В какую «Каторгу»?

– Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира-низка в доме Ярошенко.

– Заходить ли? – спросил Глеб Иванович, держа меня под руку.

– Конечно!

Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды…

Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом и вслед за ней – здоровенный оборванец с криком:

– Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу: его «успокоили». Это было делом секунды.

В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску – единственное, что я требовал в трущобах.

Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание.

Я выпил один за другим два стаканчика, съел яйцо, а он все сидит и смотрит.

– Да пейте же!

Он выпил и закашлялся.

– Уйдем отсюда… Ужас!

Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику.

– Кто же это там?

За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом.

Перед ним, здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом «многая лета» бывший вышибала-пропойца.

Я объясняю Глебу Ивановичу, что это «фартовый» гуляет. А он все просит меня:

– Уйдем.

Расплатились, вышли.

– Позвольте пройти, – вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе.

– Пошел в… Вишь, полон полусапожек…

И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу.

Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря.

– И это перл творения – женщина! – думал вслух Глеб Иванович.

Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу:

– Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег.

– Сейчас сбегаю! – буркнул человек, зашлепал опорками по лужам, по направлению к одной из лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в тумане.

– Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! – крикнул я ему вслед.

– Ладно, – послышалось из тумана.

Глеб Иванович стоял и хохотал.

– В чем дело? – спросил я.

– Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Так он и принес сдачу. Да еще папирос! Ха-ха-ха!

Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича.

Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро.

– Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и «Заря», десяток.

– Нет, постой, что же это? Ты принес? – спросил Глеб Иванович.

– А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами. Нешто я… – уверенно выговорил оборванец.

– Хорошо… хорошо, – бормотал Глеб Иванович.

Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал:

– Нет, нет, все ему отдай… Все. За его удивительную честность. Ведь это…

Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо спасибо только одно:

– Чудаки господа! Нешто я украду, коли поверили?

– Пойдем! Пойдем отсюда… Лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе! – обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

Многих из товарищей-писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанной, не побоявшийся ни «Утюга», ни «волков Сухого оврага», ни трактира «Каторга», тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был не кто иной, как знаменитый П. Г. Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свиньинскому переулку, чтобы прямо попасть в

«Утюг», где продолжалось пьянство после «Каторги», закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдатский шаг: за нами, вынырнув с Солянки, шагал взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома: облава на ночлежников.

Дрогнула рука моего спутника.

– Черт знает… Это уже хужее!

– Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее!..

Мы быстро пересекли площадь. Подколокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это «серьезные элементы» выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет…

Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху: вместо кулаковской «Каторги» он рисковал попасть опять в нерчинскую!

В «Кулаковку» даже днем опасно ходить – коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором «Сухого оврага», чиркаю спичку и вижу – ужас! – из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет:

– Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь шляются!

Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция – сам черт не полезет.

В восьмидесятых годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко.

Зашел я как-то в летний день, часа в три, в «Каторгу». Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, «коты» с

«марухами». Вдруг в дверь влетает «кот» и орет:

– Эй, вы, зеленые ноги! Двадцать шесть!

Все насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения.

– В «Утюге» кого-то пришили. За полицией побежали…

– Гляди, сюда прихондорят!

Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив «марух» расплачиваться за угощенье.

Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа, среди толпы, в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубахе, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины, под левой лопаткой, торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.

Убитый был «кот». Убийца – мститель за женщину. Его так и не нашли – знали, да не сказали, говорили: «хороший человек».

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Д. П. Кувшинников.

– Ловкий удар! Прямо в сердце, – определил он.

Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Д. П. Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов.

– Где нож? Нож где?

Полиция засуетилась.

– Я его сам сию минуту видел. Сам видел! – кричал пристав. После немалых поисков нож был найден: его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку как поденщицы.

Здесь жили профессионалы-нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали «раками», потому что они, голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отрепьях, босые.

А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в «рачью» квартиру воры с узлами. Будят.

– Эй, вставай, ребята, на работу! – кричит разбуженный съемщик.

Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны.

Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет: вместо них – шапки и картузы.

Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки.

Но самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира – кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов – везде были склады вина, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде «шланбой».

В глубине бунинского двора был тоже свой «шланбой». Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и

только одно окно «шланбоя», с белой занавеской, было светлее других. Подходят кому надо к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело – слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики «караул». Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных донага. Убитых отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда – в университет.

Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору И. И. Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на Хитровом рынке. Осмотрев труп, И. И. Нейдинг сказал:

– Признаков насильственной смерти нет.

Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело.

– Иван Иванович, – сказал он, – что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в «лигаментум-нухе» насыпали! – Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. – Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.

Много оставалось круглых сирот из рожденных на Хитровке. Вот одна из сценок восьмидесятых годов.

В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к «шланбою», услыхали стоны с помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком.

Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и

постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к «бедной матери несчастного сироты». Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался «стрелять».

На последней неделе Великого поста грудной ребенок «покрикастее» ходил по четвертаку в день, а трехлеток – по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам «на пропой души» гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие.

Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли «на стреме», когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых «работе».

Бывало, что босяки, рожденные на Хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики.

Положение девочек было еще ужаснее.

Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость.

Они ютились больше в «вагончике». Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине восьмидесятых годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали «княжна». Она исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но всякий раз возвращалась в «вагончик» и пропивала все свои сбережения. В «Каторге» она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу.

В числе ее «ухажеров» был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени.

Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его:

– Васька-то? Пустельга! Портяночник!

Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему:

– Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать.

– Ваше дело держать, а наше дело бежать! А слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово.

Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену.

И прямо – в «вагончик», к «княжне», которой дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил «княжну» до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.

* * *

В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится: «Свиньин, Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом № 24, Мясницкой части, на углу Солянки».

Свиньин воспет Пушкиным: «Вот и Свиньин, Российский Жук». Свиньин был человек известный: писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский.[4 - Теперь Астаховский.]

На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами, заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный «вольным местом», как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожнего «вольного места» вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название: «бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, № 39. Здесь жил он сам, а в доме № 24, на

«вольном месте», жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы.

В 1839 году умер Свиньин, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции.

Дом генерала Хитрова приобрел Воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки: и выгодно, и без всяких расходов.

Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей.

Десятки лет и печать, и дума, и администрация вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово.

С одной стороны близ Хитровки – торговая Солянка с Опекунским советом, с другой – Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины… Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но ни речи, гремевшие в угоду им в заседаниях думы, ни дорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, – и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в думе, то у другого – друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности.

И только Советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту не излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людом. Самую же главную трущобу «Кулаковку» с ее подземными притонами в «Сухом овраге» по Свиньинскому переулку и огромным «Утюгом»

срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи… Нет заткнутых бумагой или тряпками или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул… Вот дом Орлова – квартиры нищих-профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих поденной работы… Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а далее, в доме Степанова, трактир «Каторга», когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте.

И в «Каторге» нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных – тоже теперь сверкает окнами… На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязные и пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети… А еще совсем недавно круглые сутки площадь мельтешилась толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими «марухами». Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся «марафету» кокаинисты обоих полов и всех возрастов! Среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые «огольцы» – их кавалеры.

«Огольцы» появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали врассыпную.

Степенью выше стояли «поездошники», их дело – выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы… За ними «фортачи», ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и «ширмачи», бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади – нищие, нищие… А по ночам из подземелий «Сухого оврага» выползали на фарт «деловые ребята» с фомками и револьверами… Толкались и «портяночники», не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована-нищего отнять суму с куском хлеба.

Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых «марух» да крики «караул». Но никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да еще изобьют за то, чтобы не лез куда не следует.

Полицейская будка ночью была всегда молчалива – будто ее и нет. В ней лет двадцать с лишком губернаторствовал городовой Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал.

Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на Хитровке сотрудник «Развлечения» Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его донага раздели на площади. Он – в будку. Стучит, гремит, «караул» кричит. Да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в «Развлечение» просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия: огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» – и так наподдал ногой – спасибо, что еще босой был, – что Епифанов отлетел далеко в лужу…

Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков, со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что «с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался», для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел:

– Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл? А?..

Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме, в Свиньинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал:

– Ах, извините, дорогой Федот Иваныч.

И давал триста.

Давно нет ни Рудникова, ни его будки.

Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры – или в одну большую, или в две-три комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста. В углу комнаты – каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь «пройди свет» из отставных солдат или крестьян, но

всегда с «чистым» паспортом, так как иначе нельзя получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда – с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц, аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных…

У каждого съемщика своя публика: у кого грабители, у кого воры, у кого «рвань коричневая», у кого просто нищая братия.

Где нищие, там и дети – будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки.

Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли; и если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла.

Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах: эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта.

В доме Румянцева была, например, квартира «странников». Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно.

После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором.

И чего-чего только не наврет такой «странник» темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души! Тут и щепочка от гроба Господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи-пророка.

Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их «служба» – с десяти утра до пяти вечера. Эта группа и другая, называемая «с ручкой», рыскающая по церквам, – самые многочисленные. В последней – бабы с грудными детьми, взятыми напрокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие.

А вот – аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-расстриги.

Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы.

Нищий-аристократ берет, например, правую сторону Пречистенки с переулками и пишет двадцать писем-слезниц, не пропустив никого, в двадцать домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо: фигура аристократическая, костюм, взятый напрокат, приличный. На вопрос швейцара говорит:

– Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут.

Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше.

В надворном флигеле дома Ярошенко квартира № 27 называлась «писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В восьмидесятых годах здесь жили даже «князь с княгиней», слепой старик с беззубой старухой женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов, по документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел; в князья его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена – запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на «князе» было старое тряпье, а на «княгине» – бурнус, зачиненный разноцветными заплатами.

Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему сожалению переписчиков и соседей-нищих.

Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь.

Рядом с ним на нарах спал его друг Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берег у себя, как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться.

Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы:

«…Пожалте сюда, поглядите-ка. Хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а мильонщик-фабрикант, попить, погулять охочий на каторжный труд, на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка да рваная одежка. И подводит живот да бока у рабочего паренька.

Сердешные!

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты: примерно, хочешь лук ты – посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки!

Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело – табак, опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра, дадут в долг и полведра.

А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыль и провизия – кругом, значит, в ремизе я. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивиденд. Нигде своего не упустим, такого везде «Петра Кириллова» запустим. Лучше некуда!»

Рядом с «писучей» ночлежкой была квартира «подшибал». В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благодеяние делают: «Куда ему, голому да босому, деваться! Что ни дай – все пропьет!»

* * *

Разрушение «Свиного дома», или «Утюга», а вместе с ним и всех флигелей «Кулаковки» началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники «Утюга» все, как один, наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения и все деревянное, до решетника крыши, увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. «Деловые» по-прежнему выходили на фарт по ночам. «Портяночники» – днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей «хазы», вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и лавчонки на Старой площади.

Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки.

По Солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам: налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в Свиньинский переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных грудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении – и вдруг в них

летели кирпичи. Откуда – неизвестно… Один, другой… Иногда проходившие видели дымок, вьющийся из мусора.

– Утюги кашу варят!

По вечерам мельтешились тени. Люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо: воду носили.

Но пришло время – и Моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок.

Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех – на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои «хазы».

Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого «будут приняты меры». Только часть нищих-инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей «Румянцевки»…

Штурман дальнего плавания

Был в начале восьмидесятых годов в Москве очень крупный актер и переводчик Сарду Н. П. Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в Артистическом кружке. Его сестра, О. П. Киреева, – оба они были народники – служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрова рынка, где ее все звали по имени и отчеству; много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно, если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а потому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконнорожденных и подкидышей. Врачом полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель хитровской рвани, описанный портретно в рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья», – Д. П. Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. О. П. Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Леля бывала у нас, и мы с женой бывали в ее

маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания, под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников,[5 - С нее А. Чехов написал «Попрыгунью». – Примеч. авт.] устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и А. П. Чехов, и его брат, художник Николай, и И. Левитан, – словом, весь наш небольшой кружок «начинающих» и не всегда вкусно сытых молодых будущих…

Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет сорока. У мальчика совсем отгнили два пальца: средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза: правый глаз был зеленый, левый – карий. Баба ругалась: «У, каторжный, дармоедина! Удавить тебя мало».

Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар.

Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю: на помойке ночлежки нашли солдатку-нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законнорожденный, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. Заснула как-то пьяная на Рождество на улице, и отморозил ребенок два пальца, которые долго гнили, а она не лечила – потому подавали больше: высунет он перед прохожим изъязвленную руку… ну и подают сердобольные… А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию, и ее отправили в участок, а оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, на перевязку.

Плохой, лядащий мальчонок был; до трех лет за грудного выдавала и раз нарвалась: попросила на улице у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку.

– Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного…

Высунулся малый из тряпок и тычет культяпой ручонкой – будто козу делает…

– А тебе сто за дело?.. Сволось эдакая… Посел к…

Кончилось отправлением в участок, откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу препроводили по характеру болезни в Мясницкую больницу, и больше ее в ночлежке не видали.

Вскоре Коську стали водить нищенствовать за ручку – перевели в «пешие стрелки». Заботился о Коське дедушка Иван, старик ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, почему и окрестил его дедушка Иван Касьяном.

– Касьян праведный! – звал его потом старик за странность характера: он никогда не лгал.

И сам старик был такой.

– Правдой надо жить, неправдой не проживешь! – попрекал он Сашку Кочергу, а Коська слушал и внимал.

Три года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше, в Лосиный остров по грибы и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам собирала грибы и носила в Охотный. Когда Коське минуло шесть лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов «в разувку» – бегает босой по снегу, а за углом у товарища валенки. Потом сошелся с карманниками, стал «работать» на Сухаревке и по вагонам конки, но сам в карманы никогда не лазил, а только был «убегалой», то есть ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили: никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме стал стоять. Но стоило городовому спросить: «Что ты тут делаешь, пащенок?» – он обязательно всю правду ахнет: «Калаулю. Там наши лебята лавку со двола подламывают».

Уж и били его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке – никто не знал. Покойный старик грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца:

– Касьяном зову – потому и не врет. Такие в три года один раз родятся… Касьяны все правдивые бывают!..

Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился…

Умер старик, прогнали Коську из ночлежки, прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под Красными воротами, в башнях на Старой площади, а летом в парке и Сокольниках, когда тепло, когда «каждый кустик ночевать пустит».

Любимое место у них было под Сокольниками, на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации.

Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомная. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага афишная со столбов, тряпье… Это постели ночлежников.

Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все «переехали» на Балкан, в подземелья старого водопровода. Так бродячая детвора, промышлявшая мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилась и существовала. Много их попадало в Рукавишниковский исправительный приют, много их высылали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые трущобами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в ученье на года, чтобы с хлеба долой! И не все выносили эту пятилетнюю кабалу впроголодь, в побоях. Целый день полуголодный, босой или в рваных опорках зимой, видит малый на улицах вольных ребятишек и пристает к ним… И бежали в трущобу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои… А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении. Здесь спи сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит, здесь никто не разбудит до света пинком и руганью.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ваше сиятельство.

2

Телега с плоским настилом.

3

Паспорт с отметкой, не дававшей права жительства в определенных местах.

4

Теперь Астаховский.

5

С нее А. Чехов написал «Попрыгунью». – Примеч. авт.

Купить: https://tellnovel.com/ru/gilyarovskiy_vladimir/moskva-i-moskvichi

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить